

А. И.
ЭРТЕЛЬ

Сочинения



Александр Иванович Эртель

Последние времена

«Долго и настоятельно звал меня в гости один приятель мой. Хутор этого приятеля лежал вдалеке от железной дороги и вообще изображал собою самую вопиющую глушь, которая только возможна в Воронежской губернии. И это долго смущало меня. Я не мог вообразить себя без писем и газет, получаемых еженедельно, и, наконец, пятидесятиверстная дорога от ближайшей станции сама по себе была убийственна. Но пришел май, подошли некоторые обстоятельства угнетающего свойства, и непроходимая глушь стала манить меня к себе. Я написал приятелю послание, в котором просил выслать за мной лошадей, и, спустя неделю, тронулся в путь...»

Александр Иванович Эртель

Последние времена

Долго и настоятельно звал меня в гости один приятель мой. Хутор этого приятеля лежал вдалеке от железной дороги и вообще изображал собою самую вопиющую глушь, которая только возможна в Воронежской губернии. И это долго смущало меня. Я не мог вообразить себя без писем и газет, получаемых еженедельно, и, наконец, пятидесятиверстная дорога от ближайшей станции сама по себе была убийственна. Но пришел май, подошли некоторые обстоятельства угнетающего свойства, и непроходимая глушь стала манить меня к себе. Я написал приятелю послание, в котором просил выслать за мной лошадей, и, спустя неделю, тронулся в путь.

Станция, на которой приходилось слезать мне, стояла в лесу. Она уже давала предвкушение той тишины и того невозмутимого покоя, которые ожидали меня на захолустном хуторе моего приятеля: село от нее было не ближе доброго десятка верст. Все это я знал и потому, подъезжая к станции, даже ощутил некоторое замирание сердечное; я думал: прислали ли за мной лошадей?

Продребезжал колокольчик; вылезли вя-

лые пассажиры и с скучающим видом обозре-
ли окрестность; громко и отчетливо обругал
машинист смазчика... Затем раздался еще
звонок; пассажиры скрылись в вагоны; прон-
зительно прохрипел свисток кондуктора, и
поезд загремел, медлительно скрываясь в ле-
су и вызывая в чаще задумчивых сосен про-
тяжный отзвук... Я остался один на длинной
платформе, опаленной солнцем. Сторож смот-
рел на меня с недоумением. Крошечный на-
чальник станции обвел мою унылую фигуру
уничтожающим взглядом и величественно
удалился. Пространство возле станции было
пусто.

— Не было лошадей с Ерзаева хутора? —
смиренно спросил я сторожа.

— Это с какого Ерзаева — за гаями?

— За гаями.

— Нет, не было. Вот с Лутовинова было, и
от Халютиной барыни были лошади, а чтоб
от Ерзаева — нет, не было.

— Да ведь я письмо писал...

Я вошел в контору и спросил: «Давно ли
Ерзаеву письмо отослано?» Господин с неиз-
бежным цветным околышем на фуражке сто-

ял около окна и давил мух. Мой вопрос застал его на самом интересном месте: крупная муха неосмотрительно попала под его палец и отчаянно жужжала и билась там, звеня по стеклу.

— Вам чего? — важно промолвил он, едва поворачивая голову.

Я повторил вопрос.

— Какому такому Ерзаеву?

— Александру Федорычу.

Он промолчал.

Я подошел к столу и сел. Господин искоса посмотрел на меня и разжал палец. Муха радостно расправила крылья.

— Мы не обязаны сберегать письма, — строго сказал он, — у нас есть свои занятия.

Я ничего не ответил. Это, должно быть, умиротворило его.

— А ежели мы соблюдаем, так единственно в свободное от занятий время, — добавил он, смягчая голос, и, подошед к шкафу, спросил: — Вам — Ерзаеву?

— Ему.

Он порылся несколько и подал мне собственное мое письмо.

— Разве не было okazji? — спросил я.

— Всего не упомнишь.

— Но если была okazia, вы должны были отослать! — воскликнул я.

Господин изобразил на лице своем крайнее изумление и обвел меня юмористическим взглядом. Затем решительно двинул стулом, надменно выпятил грудь и, развернув громадную книгу, испещренную цифрами, яростно заскрипел в ней пером. Оставалось уходить.

— Но почему же вы не послали, когда была okazia? — повторил я в досаде.

На этот раз он не обратил на меня внимания. Когда же я уходил из конторы, суровый его голос с достоинством произнес:

— Мы не обязаны, ежели у нас занятия... И мы не почтальоны.

Я вышел на платформу. Сторож подметал пыль. Солнце пекло. Тишина стояла мертвая. Вокруг сторожа юрко суетился человек в монашеском одеянии. Увидя меня, сторож приостановил свою работу и сказал с радостью:

— А ведь с Ерзаева-то были!

— Когда?

— Позавчера. Я и забыл!.. Должно, насчет почты были: малый спросил почту и уехал.

Я только руками развел.

— А лошадок у вас не добудешь здесь?

— Лошадок? Эка чего захотел! — И сторож снисходительно усмехнулся. — У нас ближе Лазовки не токмо лошадки — кобеля не добудешь.

— В Лазовке очень возможно достать лошадок, — вмешался монашек. Говорил он часто и дробно. Я посмотрел на него. Ряска на нем местами блестела, как атлас, и на локтях была порвана. Кожаный пояс стягивал стан. За пазухой что-то торчало. Из-под засаленной скуфейки благообразно вылезали длинные волосы, смазанные маслом. Реденькая бородка окаймляла одутловатое лицо с бойкими, плутоватыми глазками. Движения были порывисты и беспокойны. Под моим взглядом он было смиренно опустил взоры, но тотчас же снова вскинул их на меня и сладостно улыбнулся.

— Очень даже возможно добыть лошадок, — повторил он.

— Да ведь это далеко.

— Верст десять, — сказал сторож.

— А мы вот как сделаем, — заторопился монашек, — Мы как выйдем и сейчас же, с божией помощью, на пчельник...

— Какой пчельник?

— Это точно, пчельник здесь есть — монастырский, — промолвил сторож.

— Монастырский пчельник, — повторил монах. — Мы как в него, с божией помощью, выйдем, и прямо в Лазовку служку нарядим. А вы уж, ваше степенство, приношение нам за это... — И, отвесив мне низкий поклон, он спешно и невнятно забормотал: — Во славу божию... на спасение души... труждаемся и вздыхаем: монастырь убогий, скудный...

— Вот, вот, — подтвердил сторож, покровительственным жестом указывая на монаха, — вот отец Юс и проводит вас. Он вас проводит до пчельника, а вы ему снисхождение сделайте. Отчего не сделать снисхождения!

— А до пчельника далеко?

— Верст...

Но монашек перебил сторожа.

— Версты две, ваше степенство, — быстро

сказал он, — никак не более, как две версты.

Сторож только носом покрутил и как-то неловко моргнул одним глазом.

Я согласился. Отец Юс схватил мой саквояжик и проворно двинулся к вокзалу.

— Отец Юс! — остановил его сторож и, позвав, пошептал ему что-то. Отец Юс в свою очередь отозвался страстным и убедительным шептанием... Но сторож не унялся и даже возвысил голос. — Мастера вы здесь облапошивать! сказал он. Тогда отец Юс с неудовольствием сжал губы и обратился ко мне:

— Ступайте, ступайте, ваше степенство, я догоню.

Я вошел в вокзал. Там было душно и пахло свежей краской. Через несколько минут вбежал мой проводник в сопровождении сторожа. Последний меланхолично улыбался и утирал рукавом губы. «Он вас проводит!» — сказал он мне, снова покровительственно указывая на отца Юса. А пазуха отца Юса была в некотором беспорядке, и лицо изъясляло недовольство. Мы пошли.

— Прощай, отец Юс, спасибо! — произнес сторож.

— Ладно, — ответствовал Юс и сухо поджал губы. Выходя из вокзала, я увидел огромное окно конторы, а за окном важный лик господина, по милости которого совершалось теперь мое пешее хождение. Под его жирным пальцем снова билась и беспомощно трепетала бедная муха, а он, сосредоточенно оттопырив губы, осторожно давил ее и внимательно следил, как ее тонкие ножки бестолково скользили по стеклу.

Станция стояла на песчаной поляне, скучно желтевшей на солнце. Вокруг поляны со всех сторон толпился лес. Там высились мрачные сосны, здесь стройные березы белелись веселою дружиной... По преимуществу же преобладал дуб, и густой орешник превозмогал всюду.

Мы достигли просеки и пошли лесом. Но не прошло и четверти часа, как лес этот миновался и по обеим сторонам дороги потянулся мелкий кустарник, среди которого, там и сям, высились одинокие дубы. Тени не было и помину. А между тем был час пополудни и жара стояла несносная. Неподвижный воздух напоен был зноем. Небо висело над нами яс-

ное и горячее. Идти было ужасно трудно: глубокий песок однообразно шуршал под нашими ногами и безжалостно палил подошвы. В лесу стояла тишина. Птицы как будто попрятались... Листья утратили свою свежесть и недвижимо висели, поблекшие и пыльные.

У отца Юса и походка оказалась подобна речи: частая и дробная. Он долго шел молча и, беспрестанно поправляя пазуху, казалось негодовал. Я тоже молчал и посматривал вдаль, куда бесконечной чередой убегала тяжкая дорога.

— Эка жара-то! — вырвалось, наконец, у меня.

Отец Юс встрепнулся. Он пристально посмотрел на небо и сделал вид, как будто оно неожиданно распростерлось над нами такое знойное и яркое; затем поглядел на свои ноги, обутые в толстые башмаки, и, наконец, с осторожностью произнес:

— Благодать господня... — но, заметив, вероятно, что в этих словах мало утешительного, добавил: — Вот, с божиею помощью, Кривой Обход придет: большой липняк!.. Древеса в обхват и усладительные ароматы.

— А далеко ли?

— Версты через две достигнем, ежели господь милосердый...

— Как через две! Да пчельник-то когда же?

Отец Юс смутился.

— Спаси господи и помилуй! — воскликнул он. — Значит обмолвился я вашему степенству: пчельник за Обходом... — И, не дожидаясь моих возражений, затянул грустным тенором: «Очи мои излийте воду, яко удалился от меня утешаяй мя, возвращаяй душу мою: погибоша сынове мои, яко возможе враг...»

Я же был печален. И отец Юс заметил это. Прекратив свой горестный кант, он вздохнул и произнес:

— Благо есть мужу, как ежели возьмет ярем в юности своей.

Я промолчал.

— Блажен убо стократ муж тот, потому прямо надо сказать: начало греха гордыня и держай ю изрыгнет скверну...

— Это вы насчет чего? — спросил я.

— А насчет того, ваше степенство, грехи повсеместно!.. — доложил Юс и, несколько

мгновений подождав ответа, продолжал: — Повсеместный грех и прямо вроде как последние времена...

Я снова промолчал, но отец Юс, после краткой паузы, решительно приступил к разговору.

— Я, примерно, из мещан происхожу, — сказал он и, помедлив немного, добавил: — из торгующих. Сеяли мы бакчу, табаком торговали, шкурки скупали... Про город Усмани слышали? Ну вот, мы из Усмани. Там по большей части такой народ — шибайный... Ну, и все мы, с божьей помощью, кормились. И по сугубе своей грешили... Грешили, ваше степенство! — Отец Юс меланхолически улыбнулся. — По домашности по своей наслаждались всякими напитками... Бабы в роскоши, примерно: карнолины, сетки... Вот он как, дух тьмы-то!.. Спаси и помилуй... — И, после некоторого молчания, продолжал: Но только возлюбил я пустыню с юности моей. Ежели, теперь, братья по селам поедут и заведут всякий торг, я об одном потрафляю: уйти мне на бакчу и там жить. И живу, бывало, не то что как, а целое лето. Ох, и времена же были ра-

достные! — Отец Юс покачал головою и весь расплылся в тихом удовольствии. — Какие времена! — повторил он сладостным шепотом. — Въявь господь милосердый посылал свою милость. Бывало, сымешь у мужиков пустынь какую-нибудь, выгон ли там или степь, и прямо вырубаешь для меры шест. А в шесте четыре аршина... И ты даже очень удобно выдаешь этот самый шест за сажень. И сколько даровой земли этим шестом получишь, даже удивительно... А мужикам это не во вред, потому у них много. Или придет теперь полка: девки полют, а расчета им нет... Тогда только производим расчет, как поспеет дыня. Дыней и производим... Огурец собирать — огурцом производим расчет. И так всякие работы. Или меды ломали. Прямо везешь с собою водку, и прямо пьют и не ведают, что творят... А тут уж не зеваешь, и ежели не возьмешь вдвое или втрое, то без всякого стеснения назовешься зевакой. Да одно ли это, мало что дельвали... У баб, опять же, коноплю собиравали или же кожи и всякую рухлядь по деревням... Боже ты мой, какая простота и какой барыш!

И он впал в задумчивость, во время которой лицо его сделалось тусклым и печальным.

— Зачем же вы ушли в монахи? — спросил я.

— Возлюбил еси... — начал было он, но сердито крякнул и произнес: Последние времена!.. — а затем, с какой-то горячей поспешностью и с каким-то шипением в голосе, стал выбрасывать следующие слова: — Девки по два двугривенных!.. Выгона все пораспахали!.. Мужичишки измошенничались, обнищали!.. Бывало, кожу-то за рубль, а ноне четыре отдашь, а за нее и в городе больше четырех не дадут... А медоломное дело? Водку-то он пожрет, за товар же всячески норовит настоящую цену ободрать и пустить тебя по миру... Морозы пошли — бакчу хоть не сади!.. Везде купец пошел, капитал! Ты с умом, а он — с рублем... И прямо от тебя мужик бежит, как от чумы, и бежит к купцу... А мещанин — все равно что жулик... Банки эти теперь — домишки позаложены, бабы в шильонах, жрать нечего... Тьфу!.. — И отец Юс умолк в негодовании.

Долго мы шли, не прерывая молчания. Солнце палило нестерпимо. Яркая желтизна дороги ослепляла глаза...

Вдруг отец Юс встрепенулся и промолвил:
— Вот, теперь взять, сторож этот, Пахом. Пахом-то он Пахом, а уж человека такого погибельного, по прежним временам, с огнем не сыскать!

— Чем же он погибельный? — спросил я.

— Пахом-то?.. — в некотором даже удивлении отозвался Юс и, помолчав немного, с горячностью выпалил: — Пес он, вот он кто... Он не токмо в сторожа его ежели, он в антихристы не годится... Он тетку поленом избил... Он, ежели с ним по-простоте, с костями слопаёт, вот он какой человек! — И Юс с негодованием отплюнулся, но спустя немного, вздохнул и сказал: Спаси господи и помилуй!.. — И мы снова в молчании продолжали путь наш. Меня одолевала скука.

А отец Юс не скучал. Он часто стал отставать от меня и, отставая, пригибался к земле и хватался за грудь, как бы от боли. Сначала это приводило меня в недоумение и даже беспокоило. Но после каждой такой остановки

лик отца Юса просветлялся и глаза выражали плутоватую радость; вместе с этим его скуфейка сдвигалась на затылок, движения становились развязнее... Наконец внезапный звон стеклянной посуды объяснил мне все, и я уже нимало не удивился, когда горлышко полуштофа предательски выглянуло из плохо прикрытой пазухи моего спутника.

А когда липовый лес раскинул над нами густые свои ветви и влажная тень прикоснулась к нашим пылающим лицам и обмахнула их как бы крыльями, отец Юс и совсем пустился в откровенность. Он торжественно вынул полуштоф и предложил мне выпить. Я отказался. Тогда он заподозрил меня в деликатности. Он убедительно болтал остатками водки и говорил:

— Ваше степенство! Будьте настолько благосклонны!.. Как мы есть из мещан и чувствуем благородного человека... Вы что — вы думаете, маловато? Э, ежели теперь Пахомка меня избидел — шкалика два он вытрескал, пес, непременно вытрескал... Так мы, с божьей помощью... — Тут он с лукавством улыбнулся и, отвернув полы ряски, вытащил из

кармана штанов другой, совершенно еще непочатый, полуштоф. — Отец Юс понимает свое дело! — сказал он и снова спрятал посудину.

А пчельника все не было. Правда, идти теперь было прохладно, но какая-то непонятная истома и в прохладе этой томительно стесняла грудь. Дятел задумчиво гремел по деревьям... Несколько раз в вышине разносился резкий голос синицы. Где-то иволга протянула грустную свою песню... И вдруг лес переполнился каким-то смутным шепотом. В лицо пахнул ветер. Листья затрепетали... Я взглянул на небо: тучи, синие и мрачные, толпились над нами. Солнце еще не угасло: оно по-прежнему пронизывало лесную чащу мягкими зеленоватыми полосами и круглыми пятнами играло на узорчатых листьях папоротника, но лучи его уже не жгли, а только сверкали ослепительным блеском... А спустя немного тучи бросили тени, и лес переполнился таинственным сумраком. И снова стала тишина. Листья поникли в каком-то бессилии. Папоротник распростирал свои лапы в недвижимой дремоте... Только синица резко

тревожила тишину и в каком-то беспокойном задоре мелькала над деревьями. Было душно.

А мой спутник окончательно развеселился. Неукоснительно dokonчив полуштоф, он совершенно утратил всякое смирение и если походил на кого, то уж никак не на инок. Благочестивые слова свои он забросил. Скуфейку молодецки заломил за бекрень...

— Ваше степенство! — кричал он. — Ежели мы теперь в иноческом житье находимся, мы прямо понимаем это как пощущение... Там сборка, там скородьба, работники... Вот-те и осталось шиш с маслом!.. А тут шильоны... Нет, брат... — и вдруг, переменяя тему: — Но только у нас есть благочестивые иноки!.. Есть у нас теперь отец Панкрат: ты приди к нему и пощупай. Прямо как пощупал — цепь! А в цепи два пуда... Ей-богу!.. С походом два пуда будет... Сам вешал... И прямо вроде ремня она на нем... Тяжеленная цепь!.. А мы что? Мы — грешные, слабые... Мы не токмо что, а прямо надо говорить — подлецы... — Отец Юс сокрушенно смахнул грязным рукавом грязные слезы и, легонько вздохнув, произнес вполголоса: — Эх, жизнь, жизнь...

Вдруг лес как бы встрепенулся и закачал вершинами. Тревожный гул прошел по деревьям... Я невольно остановился: сердце сжалось и как будто перестало биться... А тучи нависли низко и внушительно. Казалось, кто-то смотрел сквозь них на землю и его пристальный взгляд переполнен был мрачным гневом. Лес хмурился. Внизу еще стояла тишина, и папоротник по-прежнему еще не шевелился, но зато тьма у подножия деревьев сгущалась все более и более, и невольная робость одолевала человека при взгляде на чащу. Вершины же равномерно склонялись, переплетаясь ветвями, и производили шум, подобный шуму взволнованного моря. И когда я смотрел на них, с вышины веяло на меня суровостью и грозой, и как-то невольно хотелось приникнуть к земле и просить у ней тихой и ласковой заступы.

Под обаянием непогоды примолк было и отец Юс. Впрочем, ненадолго.

— Эх, жизнь! — повторил он пренебрежительно и громко и затем неожиданно предложил: — А хотите, я вам песенку спою? — и, не дожидаясь ответа, затянул своим дребезжа-

Щим тенорком:

Что не ржавчинка у нас во боло-
те
Всю травку съедает,
— Не кручинушка меня, доброго
молодчика,
Сокрушает...
Что сушит-крушит меня, добро-
го молодчика,
Да все худа слава!
От худой-то я от славушки,
Мальчик, погибаю.
Знать, погибла моя буйная голо-
вушка,
Да все понапрасну...
Что велят-то мне, добру молод-
цу,
Велят мне жениться,
Не на душе красной девчоночке,
На горькой вдовенке...
Уж ты горькая моя, разнесчаст-
ная вдова,
Стели мне постелю.
Как, постламиши, вдовонька, по-
стелюшку,
Слезнехонько плачет...
Не по батюшке, не по матушке,
По милом дружочке.

*Не шатайся, не качайся
В поле ковыль-травка,
— Не тоскуй, не горюй по молод-
чику
Красная девка!..*

А гроза ширилась и наступала на нас. Не успел еще отец Юс кончить свою песню, как туча, стоявшая над нами, разорвалась сверху донизу, и огненная бездна ослепительно бросилась нам в глаза. Лес озарился зловещим блеском. И за блеском не замедлил гром. Сначала он пророкотал тихо и смутно, в какой-то робкой и тревожной нерешительности... Но, казалось, эта самая нерешительность ужаснула лес, и он, точно очарованный, слабо залепетал в ожидании... И немного погодя удар разразился. О, если вы не встречали грозу посреди леса, вы не знаете грозы!.. Все вокруг вас колеблется и переполняет воздух оглушительным треском. Молнии пронизывают зеленый мрак, и причудливые растения, встревоженные внезапным светом, толпятся в фантастическом беспорядке посреди бледных лип и гибких ветвей орешника... По всем направлениям ходит отзвук. Небеса давно уже

безмолвны, а в непроходимой лесной чаще стоит торжественный гул, и робкие древесные листья бьются и трепещут жалобно. Когда же в тучах совершается канонада, лес отвечает невыносимым грохотом. Тогда вам кажется, что под тень деревьев переселился ад... И напрасно вы ищете дали, чтобы вздохнуть привольно и всем существом своим ощутить свободу — кругом какая-то бешеная толпа стесняет пространство и отчаянно машет своими ветвями, и стонет, и голосит... А небо тянется над вами узкой полосой, и тучи непрерывной чередой заслоняют светлую его синеву.

Но все это не помешало отцу Юсу закончить свою песню. А закончив, он впал в какое-то странное состояние. Он начал выкликать какие-то совершенно не идущие к делу слова и вместе с громом будить лесное эхо. Это его забавляло. А когда я в утомлении сел около дороги, он положил на землю мой саквояжик и, вынув непочатый полуштоф, затянул плясовую песню, причем беспорядочно затоптал ногами. Слова песни часто прерывались ударами грома, но отец Юс не унимал-

ся и кричал как иступленный, в каком-то слепом и неудержимом задоре, непрерывно кружась и взбивая пыль своими толстыми башмаками. «Через грязи, через топи, трои лебедей летели», — кричал он.

*Э-их, лебеди летели,
Про Ванюшу песню пели:
Что ты, Ванюшка, не весел,
Буйну голову повесил?
К чему Ване веселиться
Велят Ванюшке жениться,
Мне жениться не хотелось
Сударушка не велела:
Сударушка не велела
Любить до веку хотела...*

Впрочем, надо отдать справедливость отцу Юсу: другого полуштофа так он и не начал; он только потрясал им в такт песни, а когда допел, снова спрятал его в карман штанов.

И, вместе с последними словами песни, хлынул ливень. Крупные капли дождя дружно и споро забарабанили по листьям и быстро превратили дорогу в ручей. Мы осторожно пробирались под густыми ветвями придорожных лип; но часто ветер раздвигал эти ветви,

и вода низвергалась на нас неукротимым потоком. Тогда отец Юс отряхивался, как пудель, и смачно улыбался... Шум в лесу и гул на небе, казалось, не утихали ни на минуту. Молнии загорались по всем направлениям: блистательные зигзаги то и дело пронизывали лес голубым сиянием и слепили наши глаза. Наконец на одном повороте отец Юс торжественно воскликнул: «Пчельник!» и указал на белый столб, полуприкрытый кустом орешника. Столб обозначал расстояние от вокзала. «Пять верст, 132 сажени», прочитал я. «Что же это?» — упрекнул я отца Юса. Но Юс промолчал и только рассмеялся лукавым смехом. Узкая дорожка повела нас на пчельник. Вся она сплошь заросла гладкими листьями подорожника и сочной муравою. По сторонам буйно волновался орешник. Высокие липы отошли на почтительное расстояние и оставили нас совершенно незащитными: дождь свободно лил на нас. Но зато над нами висело теперь широкое небо, и мы обнимали взглядом довольно обширную перспективу. Мы видели, как темные тучи медленно разрушались и таяли, и среди них

приветливо синели клочки чистого неба, ясного, как хрусталь. И когда достигли пчельника, дождь уже перестал. Правда, солнце все еще было покрыто тучами, но гром рокотал очень далеко, и молнии сверкали робко и медленно. Ветер стих. Там и сям запели птицы. Трудолюбивый дятел снова принялся за свою работу.

Пчельник притаился на полянке. Кругом обступили его развесистые липы. Уютный куренек скромно притаился под тенью одной из них. Скользкой тропинкой мы обошли ульи и подошли к куреню.

— Отец Лаврентий! — звонко закричал мой спутник, — во имя отца и сына...

— Это ты, Юс? Аминь, — отозвался суровый голос. — Полезай сюда.

— Я купца привел: ему в Лазовку нужно. Где Левончик-то?

— Какой купец? На что Левончик? Левончик в пекарню ушел: хлеб у нас на исходе. Какой такой купец?

Из куреня вышел, сильно пригнувшись, высокий старик в длинном кафтане из обыкновенного крестьянского сукна, в засаленной

скуфейке и с большой бородою сивого цвета. Он посмотрел на меня подозрительно и неохотно поклонился. Но после некоторых подходов мы познакомились. И странное дело: отец Лаврентий тотчас же утратил свою суровость, как только некоторые факты дали ему основание предположить, что я не купец, а барин.

— Господ Бегичевых знавали? — спросил он меня и на мой утвердительный ответ с гордостью заявил: — Мы их крепостные были. Хоро-ошие господа! Бывало, старый-то барин пройдет по двору, поджилки у всех затрясутся... А уж чистота какая была, какой порядок, — приходи любоваться! (Долго спустя после 19-го февраля я знал старика Бегичева на послугах у одного важного жида. Чистоту он действительно любил, и когда замечал пятнышко на калошах своего принципала, тотчас же стирал это пятнышко собственным своим носовым платком. Он так, кажется, и умер с шинелью его пр-ва в руках.)

Мы скинули наши одежды и развели костер недалеко от куреня. Отец Лаврентий предупредительно устроил козлы, на которых

развесил мое одеяние. В котелке заварили кашу. Погода прояснилась. Солнце выглянуло из-за туч, мирное и ласковое. Трава, обрызганная дождем, весело сверкала мелкими искрами и расстилалась вокруг, сочная и свежая. Пчелы хлопотливо шумели над ульями...

Поспела каша. Мы устроились, с деревянными ложками в руках, вокруг громадной чашки.

Юсов полуштоф торжественно водрузился посреди трапезы. И когда каша приблизилась к концу, языки моих собеседников заработали с особенной настойчивостью. Тусклый лик отца Лаврентия покрылся розовой краской, и его обыкновенно сердитые глаза заблестали. А у отца Юса лицо стало изображать сплошную улыбку, и взгляд затянулся ласковым маслом. Но разговоры Юсовы по большей части ограничивались восклицаниями и сочувственными подтверждениями речей отца Лаврентия. Да и вообще в присутствии последнего отец Юс как-то сократился и как будто представлял собою звонкий и покладистый отзвук, не более.

К концу трапезы наша компания увеличи-

лась. Явился ветхий и сгорбленный старец с изможденным лицом и белейшей бородою. Голову его покрывал клобук. И казалось, тяжесть этого клобука угнетала старца: голова его постоянно тряслась и поникала. И Юс и Лаврентий подошли к нему с великим почтением, и он благословил их. По этому я догадался, что пришедший был иеромонах. Благословил он и меня, причем посмотрел мне в глаза взглядом пристальным и невыразимо грустным. Затем он сел около нас и в молчании стал перебирать четки. Отец Лаврентий поднес к нему стаканчик с зеленоватой жидкостью и произнес:

— Благослови, отче.

Старец благословил. После этого предложили выпить ему. Он перекрестился широким знамением, посмотрел на нас, опять-таки долго и пристально, и медленно, с наслаждением, выпил. Бледные руки его, изборожденные голубыми жилками, тряслись, и водка каплями проливалась на рясу. Потом он снова сосредоточился в каком-то созерцательном молчании. А отец Лаврентий мало-помалу приходил в горячность и начинал уже разма-

хивать руками.

— Одно остается: бежать без оглядки, — кричал он, — бежать, и шабаш! Куда ни обернись — склыка[1] одна. И больше ничего как склыка... Я теперь говорю своему сыну: «Митька, жениться тебе ноне о покрове на Варьке». Девка такая есть: Варька. — Нет, говорит, я не женюсь, она, говорит, Варька-то, рябая... Рябая! А?.. Да что бы я с ним по прежним временам сделал за такие его слова? — Лаврентий вперил в отца Юса такой взор, от которого тот завертелся, как на горячей сковороде. — По-прежнему я бы на нем, на стервеце, места живого не оставил, вот бы я что сделал!.. Варька — рябая, а Чепыркина солдатка — не рябая?.. Хорошо. И теперь прямо я его, моего сына Митьку, хлобыснул вилами. Ведь сын он мне, ты как понимаешь?.. Плечо я ему переломил. Ладно; в больницу... К мировому... к следующему...[2] Да ведь плоть-то моя?.. Ведь от меня она произошла, плоть-то, а!.. — Отец Лаврентий выпил еще и поднес старцу. Старец, вместо молчания, стал теперь шептать что-то и быстро перебирать четками. Из его глаз по временам выкатывались

слезы.

— Легче же я уйду в обитель, — продолжал Лаврентий. — Чего мне? Тут тишина, пчелки гудут, липки вот расцветут, дай-кось... Никого я не вижу... Порядки ихние поганые до меня не доходят, — голос его дрогнул. — Эх, батюшки вы наши, господа Бегичевы! — воскликнул он. — Бывало что — бывало, я приду, паду в ноги: «Батюшка сударь, Анифат Егорыч, сподобь моему сынку невесту подобрать...» — «А какую?» — скажет... «Такую-то, мол». — «Чем нравна?» — «Работой, досужеством...» — и готово. Вот они как, дела-то, вершились! И был порядок. У нас в Бегичевке-то сто дворов было, а теперь триста двадцать. Откуда? Поделались: сыны своим умом захотели жить... Своим умом! Да отколе у тебя ум-то, у подлеца, взялся?.. В кабаке ты его нажил-то, что ли? Ну-ка, вот сидит барин, — Лаврентий указал на меня, ну-ка, спроси у него: что бы он по прежним временам с умниками-то с этими сделал? А на конюшню! розог! — вот бы что он сделал. И был порядок. У нас какое было заведение: у нас ежели мужик вернулся с базара пьяный — пороть! Шапку не снял перед

старшим — драть! Хомутишко у него разорвался — парить его, друга милого!.. Вот!.. Вот это была строгость! Как, бывало, выедет бегичевская-то барщина — глаз отвести невозможно: лошадь к лошади, хомут к хомуту, телега к телеге.

Вдруг заговорил старец.

— Послушайте меня, да и аз возглаголю, — смиренно сказал он.

Лаврентий умолк.

— Отъяся от дщери Сиона вся красота ее, — сказал старец и прослезился. — Были у нас мужички крепостные (плачет)... Были у нас веси и сады... Сам я, смиренный, гва... гва... (всхлипывает от рыданий), гвардии подпоручик... И расточиша... И разбегошася... И на месте ликования — мерзость запустения воцаришася... — и затем запел сквозь слезы голосом тихим и дрожащим: — И бысть по внегда в плен отведен бе Израиль, и Иерусалим опустошен бяше, сяде Иеремия пророк плачущ, и рыдаше рыданием над Иерусалимом... — после чего умолк и, уже сам налив колеблющейся рукою стаканчик, медленно его выпил.

— А то воля! — неизвестно к кому обраща-

сь, но с несомненным упреком сказал, после некоторого молчания, Лаврентий. — Ты проезжай теперь по деревне по нашей: избы поразорены, дворишки пораскрыты, скотина изморена, на улице нечисть... вот тебе и воля! А из кабака песни, а в кабаке пляс, драка... Всякий щенок цигарку сосет... На сходку выйдешь — над стариками, вроде как над ребятами малыми, потешаются: слово вымолвишь гогочут... И ты теперь посмотри: мы ли, бывало, с начальством не обходились... Он тебе в зубы, а ты ему поклон да курочку. И был порядок, был страх. А теперь что? Теперь вон у нас урядника недавно избили: избить-то его избили, да его же, сердечного, и со службы исправник согнал... Не-эт, по-нашему не так, по-нашему, разложить бы всю деревню, да передрать, да чтобы сам урядник лозы-то считал... Вот это так! Это порядок!.. У нас, бывало, при старых господах не токмо становой там, а просто свой же брат мужик, староста деревенский, — так пуще огня угасимого этого самого старосты боялись... А и звать-то его было — Лафет... И был страх!..

Тут он смолк в негодовании и выпил. Вы-

пил и старец. А отец Юс невразумительно бормотал:

— Два двугривенных!.. Нет, прежде поработай, а я погляжу... Я, брат, хозяин... И я погляжу, какая такая твоя работа... Может, ты и дыни гнилой не стоишь, а?.. Два двугривенных!

— Работа!.. — с величайшим презрением подхватил отец Лаврентий и, усугубляя это презрение, повторил: — работники!.. Солнышко на кнутовище поднялось, а он на полосу выезжает... А не хочешь на заре?.. Не хочешь с полуночи ежели? А не то бадиком... Работники!.. — и, помолчав, продолжал горько: — а, до чего дожили: малый жеребец-жеребцом — десятину не выкашивает!.. Баба денек повязала — поясница у ней, у подлой, заболела... О господи ты боже мой, да где же это мочь-то наша прежняя? Избил бы я ее, шельму... А, поясница-а! А ну-ка ее на конюшню! А ну-ка всыпать ей свеженьких!.. А ну-ка... — и вдруг, как бы опамятовавшись, произнес с сокрушением: — эх, собаки те ешь!..

И опять заговорил старец, на этот раз уже совершенно расслабленным и до чрезмерности певучим голосом:

— Прелести наша и беззакония наша в нас суть, и мы в них таем... И как нам живым быти?.. А на это господь ответил: Живу аз: не хочу смерти грешника... Но еже обратится нечестивому от пути своего и живу быти ему... — и снова заплакал.

— Как же, обратится, ожидай! — сердито возразил отец Лаврентий. — Нет, брат, кабы старый наш барин... Да кабы изнизать всякого, чтоб вроде как собаку, например... Вот это так!.. это я понимаю... А то сына не смей ударить? Чуть что — старика отца в суд! Пропадай вы все пропадом!.. Мне что — мне кусок хлеба, я и сыт... Обитель-то святая, вот она... Я взял перекрестился да к отцу игумну... Разговор-то короткий! Ноне я Кузьма Захаров, а приуказали да посвятили в рясофорные, вот тебе и вышел отец Лаврентий... Плевать мне на вас, подлецов!.. Делиться захотели? Делитесь, собачьи дети, тащите в розволочь... С солдаткой хочешь жить! Живи, друг, дери твою душу окаянный (старец при этих словах грустно покачал головой и провел рукою по своим слезящимся глазам)... Мы, брат, проживем... У нас вот пчелка, ежели... Липки теперь

расцветут... Медо-ок... — И голос отца Лаврентия внезапно дрогнул и прервался. Тогда отец Лаврентий как будто ухарски, а в сущности беспомощно махнул рукою и неверными шагами направился к ближнему улью, около которого долго стоял, внимательно наклонившись над отверстиями и собирая мозолистыми пальцами ползущих пчел.

— Авва! — лепетал отец Юс, умиленно протягивая стаканчик к старцу. Выпьем, авва... Выпьем, благословясь... Бедные мы, авва!.. Боже же ты мой, какие бедные!.. Нет нам притона на божьем свете... — и вдруг закричал сердито: — А, два двугривенных!.. Нет, врешь, сударушка, обожгешься... Потом обратился ко мне: — Выпьем, ваше степенство!.. А ежели вам в Лазовку — единым духом оборот сделаем... Мы понимаем... Мы даже очень понимаем... А обмануть я вас — обманул, это точно: до пчельника-то шесть верст, хе-хе-хе!.. Ну, да бог простит... Авва! Отче! Гвардии подпоручик! Простит ведь, а?.. Ничего — простит. Отец Панкрат помолится, он и простит. О, отец Панкрат зазвонистый инок... Святой!.. И ты, авва — голова, ну только до Панкрата тебе

далеко...

Старец что-то пролепетал.

— Чего? Смиренный ты?.. — насмешливо отозвался Юс. — Смиренный-то ты смиренный, а водку жрать любишь... Любишь ведь? — Он ударил старца по плечу, отчего тот так и пригнулся к земле, но вместе с тем и улыбнулся искательной улыбкой, — любишь, хе-хе-хе... А вот отец-то Панкрат не вкушает... что?.. э?.. Отца Панкрата прямо как пощупаешь — цепь на нем. Вот он какой, отец-то Панкрат!.. А ты что? Ты только название твое одно инок...

Отец Юс, видимо, поддразнивал старца. И вдруг мертвенно-бледное лицо последнего озарилось каким-то чахлым румянцем и бесцветные глаза заблестали. Он возвел их к небу, сложил благолепно руки и страстно заговорил:

— Боже милосердый!.. Ты видишь иносишь немощи человеческие; пред твоими взорами открыты и нечистота моя и изнеможение мое; открыта пред взорами твоими лютость мучающих меня, терзающих меня страстей и демонов... Увы, господь мой! Ты на кре-

сте, — я утопаю в наслаждениях и неге... — И ударил себя в грудь, отчего получился какой-то странный, как будто металлический, звук, а потом закрыл глаза и долго сидел, недвижимый как изваяние. Юс же лукаво подмигивал мне на него.

— Юс, Юс! — вдруг воскликнул старец, с какою-то изумительной тоскою в голосе, — что ты соблазняешь меня, Юс!.. Все мы рабы плоти... Все уготованы геенне... (тут, понизив голос до шепота, он несколько раз произнес, как бы вдумываясь в ужасный смысл произносимого слова: — все... все)... Знаешь, что сказано: Аще кто грядет ко мне и не возненавидит отца своего, и мать, и жену, и чад, и братии, и сестер, еще же и душу свою, не может мой быти ученик... А мы что говорим?.. Кого мы тешим?.. Юс, Юс! пала религия, пала вера святая, пала добродетель... Души братьий наших гибнут, гибнут... И ниоткуда нет спасения... Брат, брат! ужели нам величаться и подымать главу? Мы ли-де не святые, мы ли не спасенные?.. О господь мой, верую я, всеблагой, в твою неизреченную милость, но дух мой немощен... Смотри на мир, Юс: там пиан-

ство, там блуд, там начальства непочтение, там буйство... И куда-то ни оглянешься, мрак, мрак кругом... Пройди по деревне, Юс, ты в деревне скоромника встретишь, чревоугодника встретишь: ест в пятницу сметану и еще похваляется... и кто же ест и похваляется, как будто молодечеством каким? — мужичок!.. А, Юс, мужичок похваляется! Надежа церкви святой, овца робкая и покорливая похваляется?.. Это ли не времена, о которых господь сказал: приидут как тать в нощи... Это ли не последние веки!.. А был я по сбору и что видел: несли богоносцы иконы и, встретивши ручей, положили святой крест и по нем перешли... И богоносцы эти опять-таки были мужички!.. Юс, Юс! гибнет мир, скверность везде... лютость везде, вражда... Нам ли себя соблюдать?.. Нам ужасаться за братьев наших нужно... Что цепь — смотри вот на нее!.. — И порывистым движением старец распахнул рясу. Пред нами открылось тело, поражающее своей худобою и бледное до зелени, а по телу вилась толстая заржавленная цепь. На вдавленной груди с хрупкими ключицами, глубокими как ямы, она сходилась крест-накрест и

затем в два раза опоясывала стан. На бедрах и на животе темнели широкими полосами багровые подтеки. Вид этого истязания был до того ужасен, что даже отец Юс оторопел и выразил некоторое смущение. Но тотчас же оправился и, пытаясь вызвать на уста прежнюю свою улыбку, потрогал цепь пальцем.

— Все-таки у отца Панкрата позабористей будет, — произнес он, — в этой, гляди, не больше как фунтов тридцать...

Старец медленно застегнулся, провел рукою по глазам и, тяжело вздохнув, поднялся. Затем отвесил нам низкий поклон, причем вымолвил: «Простите, братия», и колеблющейся походкой скрылся из пчельника.

— Эка, падок до водки, старый пес! — напутствовал его отец Юс и прямо из полштофа вылил себе в рот остатки этой водки.

*Э-их, лебеди летели,
Про Ванюшу песни пели...*

затянул он после выпивки, но Лаврентий остановил его. Кончилось же тем, что Юс повалился на траву и долго еще невнятно бормотал какие-то слова, из которых можно бы-

ло разобрать следующее: «Нет, ты поработай сперва!.. а мы и посмотрим... Два двугривенных! ах ты, кожа барабанная... Ох, кожа, кожа!.. (Тяжкий вздох, и затем, после долгого молчания:) Этак-то всякий нацепит!.. Ишь ты, выискался... фу-ты, ну-ты... Нет, ты свесь ее, да при мне... Да чтобы свесить-то на настоящих весах... А то знаем мы штуки-то!.. Эка невидаль — тридцать фунтов!.. Я не токмо что цепь — я тебе всю вселенную произойду... Погоди ужо... А то грехи!» Нет, брат... Меня, может, мужики-то как били: в колья... А то цепь!.. Нет, по морде ежели тебя, да оглоблей... да помазком в глаза... Небойсь, брат, видывали... Не удивишь... Не чета твоей цепи... — Он немного помолчал. — А из-за чего? Из-за шильонов... Тпъфу!..

Наконец хмель совершенно одолел его, и он крепко захрапел в преизбытке утомления.

Пришел Левончик. Это был веселонравный юноша с необычайно жирными щеками и весь, с головы до пят, пропитанный запахом постного масла. Ему отец Лаврентий поручил проводить меня до Лазовки к какому-то Захару. Когда же мы тронулись в путь и уже ми-

новали улы, он воротил Левончика и что-то, с таинственным видом, приказал ему. Левончик, ухмыляясь, догнал меня. «Что ты?» — спросил я. Он промолчал, и несколько времени мы шли молча. Вдруг он рассмеялся добродушнейшим смехом.

— Ты чего? — полюбопытствовал я.

— А вот, видишь? — сказал он и вытащил из-под полы порожний полуштоф.

— Выпить-то, должно быть, отцы любят? — вымолвил я.

— И не говори!.. Хлебом их не корми, только чтоб насчет выпивки было... У отца-то Лаврентия самый притон здесь: как сойдутся, сейчас это полуштоф — и пошло.

Он замолчал, но несколько спустя снова неожиданно прыснул.

— Видел Юса-то? И промысло-овый человек!.. Он прежде на мельнице был, на монастырской... И что же он, этот Юс, придумал: он взял да вином и начал торговать!.. Как есть шинок открыл. Ох, уж и Юс только! — Левончик восторженно покачал головою.

— Ну и что же?

— Узнали. Отец эконо́м узнал. А отец эконо́-

ном у нас стро-огий-престрогий!.. Так Юса и прогнали с мельницы. А он было ловко там приспособился... — И потом, после долгой паузы, продолжал: — Ничего, отцы у нас живут ничего себе. Трапеза у нас — хоро-ошая трапеза, сытная... Одного хлеба фунта по четыре съедаем!.. а там масло, рыба, квас.

— Ну, а работа есть?

— Работа, оно точно есть, ну да что же это за работа... Больше по сбору все. Или вот еще сенокос придет — покосимся малость... Ничего, у нас весело.

— А служба какая, трудная?

— Нет, какая там служба. Служба у нас самая обыкновенная. Вот были из наших которые — отец вот Паисий в Саровской был, или опять еще на Святых Горах, — ну, там точно что трудная служба. А наша служба легкая. Наша служба — постоял если часок, вот тебе и служба вся... Игумен у нас добрый. У нас игумен вроде вот как отец бывает...

— Ну, а ты-то ездил когда по сбору?

— Как же! Я два раза ездил.

— С кем?

— А есть у нас старец такой, Саватей-ста-

рец, так с ним!

Я рассказал ему приметы «гвардии поручика».

— Он, он самый! — с живостью подхватил Левончик, — хоро-оший, правильный старец. И водочку вкушает, это точно. Мы с ним, бывало, все по господам езжали. Приедем к господину, лошадь на конюшню, и пошло. Я с лакеями, или горничные там какие, а отец Саватей с господами проклажается. Здорово его господа уважали!.. Ну, тут как вошел он в слабость — узнали. Отец эконоом у нас строогий: узнал и взял Саватея со сбора.

А то вот еще с Юсом мы раз ездили, — и Левончик опять рассмеялся, — с Юсом мы больше по черничкам все. Как в селе есть чернички, так мы прямо к ним и едем. А чернички здорово любят, ежели к ним заезжать. Сейчас это самовар, водка, и пошло!.. Ну, только и тут скоро нам прекорот вышел.

— Отец эконоом узнал?

— Он. Эх, строогий у нас эконоом... Он, ежели ты поупущение какое сделал, прямо прекорот тебе предоставит.

— Да что это значит «прекорот»?

— Хи-хи-хи!.. Прекорот, — это возьмет тебя отец эконоом в келью, да за косы, да палкой... А там либо дрова рубить, либо воду таскать... Это вот и обозначает прекорот. Ну, только он с рассмотрением. У него, ежели ты по хозяйству наблюдаешь строго, он не взыщет. У нас теперь отец Куклей есть по сбору ездит. Так он, отец-то Кук-лей, не токмо что, — может, сколько разов били его купцы, — уж очень до купчих слаб отец Куклей, а отец эконоом все ему втуне... Потому большой доход ему от отца Куклея. А от Юса какой доход! Юс, — что соберет, все с сестрами прогуляет. А то еще хвост у нас отрезали. Так и отхватили мерину хвост! А мерин — сто целковых...

— Это за что же?

— А уж случай такой вышел. Случай-то — по-настоящему бить бы Юса, ну, а мужики взяли да мерину хвост отчекрыжили. Это, значит, вместо битья.

— Ну, а не били?

— Нет, бить не били. Били, только в другом месте. А в другом месте здорово били!.. Я-то уехал, а Юса поймали... И здорово его били тут, этого Юса!..

— За что?

— Да все из-за этих... — с неудовольствием сказал Левончик, — все из-за сестер из-за этих!.. Дьякон поставил мужикам полведра, они нас и прихватили. Мало ли тут было делов!

— Да дьякону-то что?

Левончик почесал затылок, причем скуфейка сдвинулась ему на глаза, и, поправив скуфейку, лукаво усмехнулся.

— Сердце зачесалось! — произнес он с иронией, а затем серьезно добавил: — Коли пристально это дело разобрать, дьякона тоже следовало бы изутюжить: как-никак, а ты инока не тирань... И ежели по совести, дьякону даже стыднее...

— Чем же стыднее-то?

— А как же! Первым делом, он пред алтарем и даже вроде как церковное лицо... А монах что?.. Монах на то и приставлен: с дьяволом ему бороться. А поди-ка ты с ним поборись: нонче ты его одолеешь, а завтра такое подойдет дело, прямо ты под пятау к нему... Тут ничего не поделаешь. Юса-то, может, били, а прошлой зимою подошло дело, он ста-

рушку из полымя выхватил!..

— Где?

— В Лазовке. Лазовка загорелась, а Юс в гостях там случился. Так и выхватил старушку! Сам чуть не задохся, а ее выхватил... — И Левончик добавил с гордостью: — Вот он теперь и подумай, враг-то!.. Юс и то говорит: как я, говорит, выхватил эту старушонку, так у меня словно гора какая свалилась с сердца... Это значит, грехи-то с него соскочили. А сатана поломай голову!.. Она теперь, старушонка-то, порасскажет на суде-то небесном... Она порасскажет, а Юсу праздник! Он теперь на то и бьет. «Теперь, говорит, того я и жду, чтобы, как-никак, еще душу какую вызволить... И ежели вызволю, говорит, прямо у меня сатана заплачет. Потому я тогда вольный казак». Потому много надо грехов, чтоб они две души перевесили... Смертные какие грехи, и то не перетянут!.. Он тонкий человек, этот Юс! — В последних словах Левончика слышалась зависть.

В это время раздался благовест. Тонкий и ноющий звон колокола протянулся в тихом воздухе и медленно замер, вызывая в лесах

тоскливое эхо.

— Где это звонят? — спросил я Левончика, который набожно крестился.

— В обители к вечерне звонят.

— Да где же обитель?

Он указал рукою. Из-за поворота бросилась мне в глаза привлекательная картина. Прямо около леса зеленела широкая лужайка, а за лужайкой на пригорке белелся монастырь. У самых монастырских стен сверкало плесо. За плесом высился бор, темный и мрачный. Впрочем, теперь он не казался мрачным. Солнце, склоняясь к закату, проливало на все такой обильный поток розового света, что даже самые сосны утратили свою суровость и алели в какой-то радостной истоме. Монастырь же выглядывал настоящей игрушкой. Его многочисленные кровли блестели, как покрытые глазурью, и церковные кресты казались пламенеющими.

Вокруг веяло глубокой безмятежностью. Лес стоял точно очарованный: тихо и задумчиво. Один только звон колокольный равномерно тревожил тишину, придавая окрестности характер кроткой и сосредоточенной пе-

чали.

Странно подействовала на меня эта мирная картина и этот звук колокола, протяжный и тонкий: все существо мое переполнилось каким-то сладостным унынием, и вместе чувство отрадного успокоения посетило душу... Насущные заботы отодвинулись в какую-то безбрежную даль, связи с действительностью ослабли... Все помышления сосредоточились в одном желании: забыться, прикинуть под наитием каких-то странных мечтаний, неведомо откуда идущих и таинственно волнующих душу, затеряться среди этого темного леса, в этой молчаливой глуши, в виду святых стен, тонкими контурами поднимающихся над лугом... И пусть там, вдали, с жестокой непрерывностью, шумит и рокочет бурливое житейское море.

— Опоздаем!.. — прервал мои мечты Левончик, и мы тронулись.

Монастырь скрылся за деревьями. Скоро пришла речка. Левончик остановился на мосту и глубокомысленно плюнул в воду. Вода была темная и спокойная. Отражение леса стояло в ней недвижимо... Около берега слабо

трепетал камыш и красиво белелись лилии. Колокольный звон, доходивший до нас глухо, пока мы были в лесу, теперь снова раздался, ясный и печальный. Где-то за лесом внушительно вторил ему звук, подобный гудению шмеля. «Это в Лазовке звонят», — пояснил мне Левончик. За мостом крупный лес прекратился: пошел орешник и молодой дубняк. Дорога потянулась под гору. И, странное дело, чем дальше отходили мы от монастыря, тем оживленнее становился лес: ворковали горлинки, пели соловьи, переливалась иволга... Какие-то бойкие птички то и дело перелетали по деревьям. В густых зарослях куковала кукушка.

Скоро лес совсем миновался, и песчаная тропа повела нас опять в гору. На горе стояла Лазовка. Вся она опоясалась огородами и развесистыми ветлами заслонялась от солнца. Над темною зеленью ветел подымалась белая церковь, стройная и величественная. Там и сям желтели крыши... Но село оказалось привлекательным только издали. Когда мы вошли в середину, вопиющее разорение бросилось нам в глаза. Избы скосились и были по-

раскрыты; в плетни свободно пролезали сви-
ньи; в окнах зияли дыры... Только кабак скра-
шивал улицу и выглядывал настоящим пове-
лителем этих жалких и гнилых избушек. Его
стройные сосновые стены венчались желез-
ной крышей, а над крышей трепался новень-
кий кумачный флаг. По карнизу и над окна-
ми шла затейливая резьба. В окнах белелись
занавески и виднелась герань. Ставни были
выкрашены в яркий голубой цвет.

Мы свернули в проулок и подошли к край-
ней избе. Эта изба тоже выделялась крепким
своим видом. Она хотя и не была на особое
щегольство, но была чиста и поражала проч-
ностью. Дубовые брусья, составлявшие ее сте-
ны, были в добрый обхват. Такие избы отли-
чаются тяжелым воздухом и зимою часто бы-
вают угарны, но им, как говорится, веку нет,
и потому достаточные мужики особенно лю-
бят их. Двор около избы тоже сделан был на
славу. Новые ворота из широкого теса сплошь
были унизаны блестящими четырехугольни-
ками из белой жести. Из сеней на проулок
выходило крыльцо.

— Вот и дядя Захар! — сказал Левончик,

указывая на мужика, вышедшего на крыльцо в то время, когда мы подходили к избе.

Я посмотрел на дядю Захара. Был он плотный и приземистый мужик с угрюмым взглядом серых маленьких глаз и крутым лбом. И этот взгляд и лоб крутой придавали ему вид человека упрямого и непокладистого. Выйдя на крыльцо, он надел шляпу, предварительно отерев платком лоб, и уселся на скамью. Мы поклонились ему; в ответ он едва приподнял шляпу и сквозь зубы спросил Левончика, что ему нужно. Левончик, слегка робея и путаясь, объяснил. Тогда Захар подумал немного и сказал:

— До Ерзаева сорок верст.

Я согласился с этим.

Захар опять подумал.

— Свезем... — произнес он неохотно.

— А цена? — спросил я.

— Цена? Время рабочее: покосы... Цена — пять рублей.

— А меньше?

— Такой у нас не будет, — сухо возразил Захар и равнодушно отвернулся от нас.

— Ну, я поищу подешевле, — сказал я.

— Ищи... — и вдруг закричал сурово: — Машка!..

На этот зов быстро явилась молодая бабенка, шустрая и миловидная. Она пугливо взглянула на старика.

— Это что? — кратко сказал Захар, указывая на лавку, и снова обратил взгляд свой в сторону.

Машка тотчас же покраснела и скрылась. А через минуту она уже усердно скребла ножом лавку и с усердием вытирала ее тряпкой.

— Так не возьмешь дешевле пяти рублей? — спросил я.

— Пока нет.

— А четыре с полтиной?

Захар не удостоил меня ответом. Лицо его как бы застыло в сухом и жестком выражении.

— Ну так и быть, — согласился я, — но только парой?

— На одной доедешь.

Сказано это было так твердо, что я не решился возражать.

— А нельзя ли у тебя чаю напиться и ночевать? — сказал я.

Захар подумал.

— Машка!.. — закричал он.

Явилась Машка. Она испуганно расширила глаза при взгляде на старика.

— Сходи к целовальнику, самовар спроси. И чаю чтоб дал. Скажи, мол, нужно, — приказал он ей.

Машка опрометью бросилась к кабаку.

— Входите, — проронил старик.

Вместе со мною взошел было на крыльцо и Левончик.

— Ты чего? — спросил его Захар.

Тот замялся.

— Нечего шлындать... Ступай, ступай...

Левончик посмотрел на меня, подмигнул лукаво и распростился.

— Дармоеды! — напутствовал его Захар.

Я было попытался вступить с ним в разговор, но это оказалось совершенно невозможным. «Велика ли у тебя семья?» — спрошу я; он подумает и скажет: «Есть». «Как живут мужики в Лазовке?» — «Разно». И так во всем. А немного погодя и вовсе перестал отвечать: буркнет себе что-то под нос и глядит по сторонам. И еще я вот что заметил: проулок около

крыльца был замечательно пустынен. Пробежит откуда-то свинья, пройдет осторожным шагом курица, и только. Люди как будто остерегались ходить здесь. Так, одна баба показалась было, но, увидав нас, тотчас же торопливо скрылась за угол. Долго уж спустя какой-то мужичонко деловой походкой прошел по проулку. Поравнявшись с крыльцом, он низко поклонился.

— Аль праздник? — насмешливо спросил его Захар.

Мужичонко остановился.

— Праздника никак нетути, — робко ответил он, в нерешимости переминаясь на ногах, — завтра, кабыть, праздник-то?

— Так, — произнес Захар и, по своему обычаю, подумал. — Ты где же это, у вечерни был?

— К кузнецу...

— А! Сошники наваривал?

— Не то чтоб сошники...

— Чего же?

— Да насчет зубов, признаться...

— Болят?

— Ммм... — произнес мужичонко, качая го-

ЛОВОЮ, и схватился за щеку.

— Так... Значит, кузнец лекарь?

— Признаться, помогает...

— Как же он?

Мужичишка оживился.

— А вот, возьмет нитку, к примеру, — заговорил он, немилосердно размахивая руками, — возьмет и захлестнет ее на зуб. Ну, а тут как захлестнет, прямо возьмет и привяжет ее к наковальне... Вот, привяжет он, да железом, к примеру... прямо раскалит железом — и в морду... Ну, человек боится — возьмет и рванет... Зуб-то — и вон его!.. Здорово дергает зубы! И мужичок в удовольствии рассмеялся. Захар не сводил с него саркастического взгляда.

— Так в морду?.. железом?.. — вымолвил он. — Ну что же, вырвал он тебе зуб-то?

— Мне-то?

— Тебе-то.

— Да я, признаться, не дергал... Я, признаться, обсмотреться... Мужичок окончательно переконфузился.

— Не дергал! Обсмотреться! — пренебрежительно воскликнул Захар, — а навоз мне

вывозил? А под просо заскородил?.. Не помнишь?.. Как муку брал, так помнил, а теперь зубы заболели? Железом?.. в морду?.. Я тебе как муку давал: вывези, говорю, ты мне навозу двадцать возов и заскороди под просо. А ты заскородил?.. У тебя вон брат-то на барском дворе мается, а у тебя зубы болят?.. Ты ригу-то починил? У тебя, лежебока, колодезь развалился ты поправил его? — И добавил с невыразимым презрением: — Эх, глиняная тетеря!..

Мужичок не говорил ни слова и только глубоко вздыхал, изредка хватаясь за щеку. А когда Захар умолк, он произнес жалобно:

— Лошаденки-то нету...

— А, — сказал Захар, — ты с барина за брата деньги-то взял, ты куда их подевал?

— Подушное...

— Ну, подушное, а еще?

— Сестру выдавали...

— Сестру! Лопать нечего, в петлю лезете, а чуть налопались пьянствовать... Я тебя гнал муку-то у меня брать?.. Лошади нет, а на свадьбу шесть ведер есть?.. Пропойцы... Ты бы на четвертную-то лошаденку купил, а ты ее про-

пил... Шалава, шалава! Ты бы девку-то продержал, да в хорошем году и отдал бы ее... Бить бы, бить тебя, шалаву!

— Ведь не сладишь с ей, дядя Захар, с девкой-то!.. — беспомощно возразил мужик.

— Чего-о?.. Да ты кто ей — брат ай нет? Тото, посмотрю я на вас, очумели вы... Взял да за косы привязал, да вожжами, не знаешь? Разговор-то с ихним братом короткий... Ей, дьяволу, загорелось замуж идти, а тут работа из-за нее становись.... Нет, брат, это не модель! — Он замолчал, негодуя.

Мужичишка еще раз вздохнул, подождал немного и осторожно направился далее.

— Народец!.. — проронил Захар.

Я воспользовался его возбуждением.

— Плохой?

Захар махнул рукою.

— Я пришел из Сибири — не узнал, — сказал он, — все, подлецы, обнищали!

— А ты зачем был в Сибири? — спросил я с любопытством.

— На поселении был, — отрывисто сказал Захар.

— За что?

— По бунтам, — с прежнею сухостью ответил он, — супротив барина бунтовались... — И снова устремил взгляд в пространство.

А с крыльца вид был внушительный. За пологой долиной, в глубине которой неподвижно алела река, широким амфитеатром раскинулся лес. Солнце, закатываясь, румянило его вершины. Сияющий шпиг монастырской колокольни возвышался над сосновым бором, и золотой крест горел над ним, как свечка.

В это время к нам подошли, один за другим, два старичка. Один, высокий и худой, поклонился молча и, неподвижно усевшись на лавку, стал, не отрываясь, смотреть на закат. Другой, кругленький и розовый, с пояском ниже живота и серебристой бородкой, поздоровался, улыбаясь, и распространился в бойких речах. Машка подала самовар. Я заварил чай и пригласил стариков. Кругленький поблагодарил и подсел поближе к самовару. Захар промолчал и отвернулся, третий же — его звали Ипатыч — ие шевельнулся.

— Не тронь его, — шепнул мне круглень-

кий, — он у нас того... свихнувшись.

— Как?

— Да так, братец ты мой, как воротили нас из Томской, — мы ведь, хе-хе-хе, вроде как на бунтовщицком положении — вот я, дядя Захар, Ипатыч, да еще помер у нас дорогой один, Андрон... Ты с нами тоже не кой-как!.. — И старичок снова рассмеялся рассыпчатым своим смехом. — Ну вот, пришли мы, с Ипатычем и сделалось... Зимой еще туда-сюда, а как весна откроется, кукушка закукует в лесах, он и пойдет колобродить: ночей не спит, какая работа ежели — не может он ее... в лес забьется, в прошлом году насилу разыскали... Но только он совсем тихий... Больше сидит все и глядит. Ну, и неспособный он, работы от него никакой нету. Семейские страсть как обижаются, им это обидно.

— Ироды! — кратко отозвался Захар.

— Это точно что... — торопливо подтвердил старик, — семейские у него не то чтобы очень, — и, нагнувшись к самому моему уху, сказал: — Сын-то и поколачивает его... Намедни сколько висков надергал — страсть!

— От них он и повредился, — сказал Захар.

— А пожалуй, и от них, — не замедлил согласиться старичок, — как пришел он, тут уж у них свара была... Ну, а при нем и пуще: сыны в кабаке, бабы в драку... Так и пошло! А тут внучонок у него был, — свинья его слопала, внучонка-то... Мало ли он об нем убивался!

Вдруг Ипатыч обернулся к нам и тихо, как-то по-детски, рассмеялся. «Закатилось красное солнышко за темные леса», — произнес он словами песни. Я взглянул. Действительно, солнце скрылось за зубчатую линию леса, и только лучи его огненными брызгами разметывались в розовом небе. Казалось, раскаленное ядро погрузилось в воду... По лесу прошли суровые тоны. Бор сразу стал черным и угрюмым. Темная зелень дубов явственно отделилась от бледной липовой листвы. В ясной реке отразилось небо, покрытое золотыми облаками.

Ипатычу подставили чай, и он усердно начал пить его, беспрестанно обжигаясь и дуя на пальцы. Придвинулся к самовару, как бы нехотя, и дядя Захар. Он с неудовольствием откусил сахар и с видом какой-то враждебности начал подувать на блюдечко.

— Ну, а Семка твой? — в промежутке чаепития спросил он у старичка.

— Что же Семка? Семка как был кобель, так кобелем и останется! ответил старик и вдруг горячо набросился на Захара. — Хорошо тебе говорить, Захар! — закричал старик. — Ты в Сибирь-то пошел, у тебя брат остался. Детей-то он тебе каких приспособил!..

— Брат порядок наблюдал строго, — согласился Захар.

— То-то вот!.. А тут, брат...

Тем временем пригнали скотину и вернулись из церкви семье Захара. Явилась старушка, чрезвычайно подвижная и вместе молчаливая, явилась баба, постарше Машки, с плоской грудью и с выражением скорби, застывшим на тонких губах. Над селом повисли хлопотливые звуки. Кричали бабы, скрипели ворота, блеяли овцы... Щелканье кнута сливалось с отчаянным ревом коров, и крепкая ругань разносилась далеко. Бабы ушли доить коров. Дядя Захар удалился на гумно готовить резку... А кругленький старичок принялся за расспросы. Чей я, откуда и куда еду, много ли за подводу отдал Захару, сколько у меня деся-

тин земли, жива ли моя мать и женат ли я, — все расспросил он, а по расспросе сказал, понижая голос:

— Дорого ты отдал Захару. Я бы взял дешевле. Он ведь жила у нас... Он кулачина, я тебе скажу, такой... Он припер теперь деньжищи-то из Томской и ворочает тут. У него село-то все, почитай, в долгу... А уж выпросить у него чего — снега посередь зимы не выпросишь! Прямая костяная яишница... А ты передал ему... Эх ты!

Но немного подумавши, он сказал:

— Крепкий человек Захар, справедливый человек. Он жаден, это точно... Но вместо того, все ж таки человек он твердый!.. Нас как барин выселял, он за мир-то грудью... И пороли его в те пор... Боже ты мой, как пороли!

Старичок с удовольствием чмокнул губами.

Свечерело. В небе одна за другой стали загораться звезды. Повеяло прохладой. В долине седой пеленою опускалась роса. Любопытный старичок опрокинул чашку и куда-то скрылся. Мы остались одни с Ипатычем. Я долго глядел на него. Холодный чай стоял

около него забытый, и он сидел в тяжком раздумье. На лице не было признаков безумия, только глаза были как-то странно неподвижны. В лице же стояла неизъяснимая печаль и только. Казалось, пред ним давно уже, с жестокой внезапностью, открылась какая-то тоскливая картина, и теперь он не может от нее оторваться. А когда я привлек его внимание громким возгласом, он как-то жалобно съежился и растерянно посмотрел на меня. Так глядит на вас собака, истомленная долгими побоями...

Вошла Машка и стала прибирать посуду. Теперь лицо ее не выражало испуга, но было сердито и нахмурено.

— Ишь, старые черти, полакали чаю-то!.. — сказала она вполголоса, окидывая недружелюбным взглядом бедного Ипатыча.

Немного погодя ко двору подъехали лошади с сохами, и молодой парень встревоженным голосом спросил Машку:

— Батюшка где?

— На гумне. А что? — спросила Машка.

— Мерин подкову потерял, — с отчаянием сказал парень и злобно ударил мерина по

морде.

— Строг у вас старик-то! — заметил я.

Машка промолчала. Только по гримасе, пробежавшем по ее лицу, я понял, что старик действительно строг.

— Ты кто ему приходишься? — спросил я.

— Сноха.

— А парень-то этот кто?

— Федька. Муж мне.

— Неужели из-за подковы будет сердиться свекор?

— Со света сживет, — мрачно сказала Машка. Я вошел во двор. Везде был образцовый порядок. Телеги, окованные железом, стояли под навесом. Там же виднелись сани, старательно сложенные рядами. Середина двора была чисто выметена. Федька убрал под навес сохи, обмахнул пучком соломы сошники и сверкающие палицы и повел лошадей на гумно. Лошади были гнедые на подбор, косматые и сытые. В хлевах бабы доили коров, лениво пережевывающих жвачку.

Я пошел за Федькой на гумно. Там, так же как и на дворе, царствовал изумительный порядок. Скирды старой ржи, великолепно сло-

женные, красиво возвышались за ригой. В предохранение от мышей они со всех сторон были обрезаны косою, что придавало им вид особенной правильности. Рядом со скирдами виднелся стожок сена, тщательно покрытый соломой и обтянутый крепкими притугами. Рига, крытая сторновкой, была новая и большая. Федька привязал лошадей к чану около риги. А внутри слышался разговор.

— Ты уж, Захар, уважь меня, — жалобно тянул голосок кругленького старичка.

— Что же мне тебе уважать, — холодно говорил Захар.

— Ей-богу, ведь кобыленку последнюю продать впору... Ты уж меня пожалей!

— Тут жалость-то одна: запрягай да вези. Да на чем ты повезешь-то?

— Как на чем! На кобыле повезу!

— А хомут? Я ведь, друг, не дам.

— Что ж хомут... Мне Семка даст хомут.

Помолчали.

— Вези, мне что! — равнодушно произнес Захар. — Вези... Только целковый мне.

— Многонько! — плаксиво воскликнул старичок.

— Не вози. Я пошлю Федьку, он свезет. Как знаешь.

— Ну, так и быть, — поспешно согласился старик, — видно твой верх, моя макушка!..

Оказалось, что дело шло о моей особе...

— Ты, видно, с ним поедешь, — сказал мне Захар.

Мне было все равно.

— А рубль давай в задаток.

Старичок замахал было руками и начал говорить, что нечего беспокоить барина из-за рубля, но когда Захар повторил своим деревенным голосом: «Как знаешь!», он засеменя ножками и стал доказывать, что действительно задаток нужен, «для верности...» Я вручил Захару рубль. Он внимательно помусолил его и с суровостью завязал в кошель. Мы пошли со стариком обратно к крыльцу.

— Ты знаешь, как меня зовут-то?.. — возбужденно вполголоса заговорил он. — Меня Мартыном зовут... А ты зря надавал ему пятишницу-то — эх, жила он у нас!.. Я тебя как бы важно за четыре-то рублика отомчал, либо-два!.. А теперь вот выскочил рублик из кармана... а? Разве у тебя их много, руб-

лей-то?.. Вот что, милячок, дай-кось ты мне двугривенный на деготь... Я тебя вон как предоставлю: стриженная девка косы не успеет заплести... хе-хе-хе... (Я ему дал двадцать копеек). А теперь вот что я тебе скажу: вставай ты завтра ра-а-ано-рано и прямо ступай по проулку... И прямо как дойдешь ты вон до этой избы — я и буду тебя поджидать. Телега у меня хоро-о-ошая, уёмистая... Эх, отомчу я тебя! — И Мартын обстоятельно показал мне, до какой избы нужно дойти.

— Да зачем же это? — удивился я. Но Мартын только таинственно замахал руками и ничего не ответил.

Спать я лег под навесом двора. Там было хорошо: пахло свежим сеном и дегтем. Захар ушел в ригу. (За чай он взял с меня тридцать копеек.) Старуха осталась в избе, мрачной и переполненной тараканами. Других я не заметил. Только около полуночи в соседстве со мною слышались осторожные голоса. Один принадлежал Машке.

— Ты вот смотри ему в глаза-то! — в ужасном возбуждении говорила она, спеша и захлебываясь. — Он тебе не токмо что — он тебя

изведет всего... Ноне тоже матушка свекровь как хлобыснет половником, так рука и хряснула... Я стою плачу, а он вошел. Вошел, да как зявкнет на меня, у меня и рученьки опустились... У людей-то завтра пироги, а у нас лепешки велел... А в амбаре муки целая прорва... А сноха Катерина рвет и мечет: позавчера она доила комолую, а я вчера хватилась — молока-то нет... Туда-сюда, а нонче уж на меня сваливает...

— Нонче за подкову уздой меня, — медленно произнес Федька.

— То-то вот уздой! — заторопилась Машка. — Ты все молчишь... Вон у Федоськиных так-то: полаялся, полаялся старик, а Демка взял да и ушел от него... А ты все... Летось много ли ты на базаре-то выпил, а он как тебя муздал... Ноне ребят — и тех так не бьют... А тебе все мало!.. У меня коты вон разбились, а ну-ка, скажи... Я зиму-зимскую на машину-то ходила, а теперь пришло время — сиди без котов. Вон Малашка Гомозкова как вышла на улицу, у ней коты-то новенькие!.. Да взяла еще, стерва, позументом их обложила. А тут ходи в лаптишках.

— Ведь сплел тебе с подковыркой!.. — с неудовольствием возразил Федька.

— С подковыркой!.. — в обиде отозвалась Машка, — ноне люди-то не токмо лапти — коты кидают... Намедни Стешка-то Шашлова, какой человек, и та полботинки купила... Легче же я в работницы уйду на барский двор... Мне к мамушке показаться — стыда головушке... И то уж ребята загаяли!.. Он, старый, деньжищи-то хоронит, а тут на улицу выйти не в чем...

Послышались всхлипывания.

— Ну, молчи...

— Как же!.. Стану я молчать!.. — не унималась Машка. — От работы света не видишь, а тут ходи черт-те в чем... У людей пироги — Павликовы на что побирошки, и то пироги у них, а тут аржаные лепешки трескай...

— Молчи, дьявол! — зашипел Федька.

Затем я различил звук здоровой затрепичины, сдержанный вопль, и все стихло.

Разбудило меня странное обстоятельство. Мне показалось, что к моему боку прикоснулось что-то твердое. Но так как в небе едва брезжило, я снова закрыл глаза. Однако при-

косновение повторилось, и на этот раз сопровождаемое таинственным шепотом.

— Вставай, барин, — шептали из-за плетня, — вставай... Это я, Мартын, возчик твой...

Я вскочил. Оказалось, что Мартын продел сквозь плетень палочку и этой палочкой толкал меня в бок. Я подивился этим подходам Мартына.

Когда заспанный Федька выпустил меня из сеней, на дворе было уже достаточно светло. На востоке кротким румянцем загоралась заря. Я прошел по проулку до условленного места. Из-за угла избы беспокойно выглядывал Мартын. Он поманил меня пальцем и скрылся. Я пошел вслед за ним. За углом стояла взъерошенная лошаденка в истерзанной сбруе и в громадной телеге, щедро нагруженной соломой. К телеге на скорую руку приделан был облучок. «Садись живее», — шепотом сказал мне Мартын и, проворно вскочив на облучок, стегнул кнутом лошаденку. Но тут случилось нечто изумительное по своей неожиданности: только что мы тронулись, как вдруг нас нагнал мужик и повис на вожжах. Был он с расстегнутым воротом, без поя-

са и без шапки.

— Ты что, старый черт, делаешь? — закричал он.

— А ты что? — взвизгнул Мартын и принялся нахлестывать лошаденку.

— Вре-е-ешь!.. Не уйдешь!.. — кричал мужик и уперся в землю. Несчастливая лошаденка закрутилась и стала.

— Отдай, отдай, говорю! — благим матом орал Мартын, силясь вырвать вожжи.

— Не-эт... Погоди-и-ишь... — рычал мужик, весь красный от напряжения.

Я вмешался. «В чем дело?» — спросил я. Но несколько мгновений ничего нельзя было разобрать. И Мартын и мужик шумели ужасно. Наконец дело выяснилось. Оказалось, что мужик был сын Мартынов — Семка и что хомут и вообще вся сбруя на нашей лошаденке принадлежали ему (он был отделенный). Мартын с вечера забрался к нему в клеть и стащил ее. Отсюда таинственность, которою облакался мой отъезд. После долгих переговоров, перемежаемых упреками и жестокой руганью, а также попытками Семки распрячь кобылу, пришли к следующему соглашению:

Мартын из условленной платы даст Семену рубль. Но когда все казалось улаженным, вдруг предстало затруднение: у меня на беду вышла вся мелочь, и я не мог выдать этот несчастный рубль тотчас же. Снова посыпались упреки, и снова Семен начал стягивать с лошаденки узду.

— Стой! — нашелся Мартын, — коли ты мне не веришь, собачий сын, поедем вместе.

Семка запустил в раздумье руку в лохматую свою голову и остановился. «Ну ладно!» — сказал он после некоторого молчания и полез на облучок. Я ему напомнил о шапке: тогда он снова задумался и в нерешительности посмотрел на отца. «Иди, леший, куда тебя понесет без шапки-то!» — увещевал его тот. Наконец, при моем содействии, Семка слез и, подозрительно оглядываясь, удалился. Когда мы остались одни, Мартын покачал головою и сказал: «Делла! — и после короткой паузы с живостью произнес: — Ай уехать?» Но сам же и ответил себе: «Нет, не уедешь!.. Он кобель, Семка-то, чистый кобель!»

Семка вернулся очень скоро и даже забыл подпоясаться.

Никогда я не забуду этой долгой дороги и этой шершавой лошаденки, кропотливо трусившей под тяжестью громадной телеги и трех здоровенных путешественников. Правда, мы часто останавливались на лужайках и выпрягали кормить ее. А во время жары простояли часа четыре. Тут же, во время этой стоянки, я сделал находку: в кармане жилета обрел двугривенный. Возчики мои моментально выпросили его и в ближайшем кабаке пропили. С тех пор во всю дорогу пошли у них нескончаемые пререкания. Семка относился к отцу с высокомерием и насмешливо. Мартын горячился.

— Бездомовники! — кричал Мартын, — я, может, в твои года-то до кровавого пота работал!.. Я на двадцатом году водку-то узнал, как ее пьют... А вы и ум-то весь пропили!

— Умники! — возражал Семка, — то-то вас и пороли, умников-то... За ум-то вас и драли!.. Солдаты вышли с ружьями, а они на ружья лезут... Умники!.. От ума-то и в Сибирь гоняли!..

— От ума!.. А ты думал, не от ума... Мы за мир!.. — кипятился Мартын.

— За мир!.. Много тебя мир-то попомнил... ты как у целовальника жилетку-то оборвал, помиловал тебя мир-то?.. Мало тебя гладили-то?.. За ум-то за твой!

— Мир-то велик! — в некотором смущении оправдывался Мартын, — мир накажет — срама никакого нету... Дело было в драке, а жилетка — она денег стоит... А вы вот пропойцы!.. Тебя небось каждую весну за подушное-то жарят...

— Сказывай!.. Мы, как-никак, не ворует...

— А я ворую?! А я ворую?!

— Воруеть.

— Брешешь! Прямо ты брешешь... ты, бесстыжие твои глаза, людей бы постыдился!

— Нечего мне стыдиться.

— Нечего, а?.. Вот и брешешь... Ты корову пропил... У тебя одна была тележонка, ты и ту о Покрове в орлянку проиграл!..

— И проиграл, — невозмутимо ответил Семка, — а ты все-таки воруеть!..

— Что я украл? что? говори, говори...

— Кочан капусты украл!

— Когда?! Когда?! — в неописуемом волнении заголосил Мартын.

— Когда? — спросил Семка и пренебрежительно посмотрел на Мартына. — Эх ты, воришка! — сказал он.

— Нет, я не воришка, а вот ты так вор. Кто в барском лесу березу-то срубил?

— Попал! — насмешливо произнес Семка, — да я у барины, может, сто берез нарублю, так это разве воровство?.. Эх ты... А еще старик!.. Лес-то он божий!.. А вот кочан-то ты украл, — Семка оборотился ко мне. — Я иду этак около полден, — сказал он, — а он крадется промеж гряд... Я — хватать, а у него кочан в подоле... Ну, я его пощипал маленько.

— Брешет все! — оправдывался Мартын и с озлоблением стегал лошаденку.

А ночь опять сходила на землю. Лошаденка усердно трусила по гладкой дороге. Кругом во все стороны расходилась степь. Там и сям виднелись копны; подымались стога высокими громадами; светились огоньки у косарей... Иногда добегала до нас песня и разносилась над степью протяжным стоном. Телега плавно колыхалась и трещала однообразным треском. Какое-то странное изнеможение одолевало меня. Я то закрывал глаза, то с усили-

ем раскрывал их. Мне казалось, что мы плывем в каком-то бесконечном пространстве и синяя степь плывет вместе с нами. А на душе вставала тоска и насылала сны, длинные, тяжкие, скорбные...

В полночь мы приехали к Ерзаеву.

Примечания

1

Беспорядки, недоразумение, ерунда. (Прим. автора.).

[^^^]

Судебный следователь. Иногда, впрочем, так называют и судебного пристава. (*Прим. автора.*)

[^^^]